

Зобнин Ю. В.

доктор филологических наук, профессор, исследователь творчества
Н. С. Гумилева и поэзии Серебряного века (посмертная публикация)

ГЛАВА ПЕРВАЯ ИЗ НЕЗАВЕРШЕННОЙ КНИГИ О ВЯЧЕСЛАВЕ ИВАНОВИЧЕ ИВАНОВЕ, «ВЯЧЕСЛАВЕ ВЕЛИКОЛЕПНОМ» СЕРЕБРЯНОГО ВЕКА

Был ранний час, и солнце в тверди ясной
Сопровождали те же звезды вновь,
Что в первый раз, когда их сонм прекрасный

Божественная двинула Любовь.
Данте Алигьери. Ад. Песнь I.

I

Образ отца, **Ивана Тихоновича Иванова** (1816-1871), скончавшегося, когда его единственному ребенку от второго брака едва исполнилось пять лет, сохранился в творчестве сына-поэта исключительно как ряд обрывочных, романтически-туманных младенческих воспоминаний:

Отец мой был из нелюдимых,
Из одиноких, – и невер.
Стеля по мху болот родимых
Стальные цепи, землемер¹
(Ту груди звучную, чьи звенья

¹ Земля в традиционно аграрной России являлась основным источником дохода и, начиная с XV века, передавалась (на разных условиях) в пользование служилым людям, которые затем привлекали на свое «поместье» работников-крестьян, или облагали оброком уже проживающих на ней земледельцев. С 1714 г. поместные земли отошли в собственность помещиков, ставших особым, привилегированным сословием. Поместное землевладение ставило государство перед необходимостью четко обозначать границы (*межи*) казенных земель и частных владений. Помимо того, межевые споры все время возникали и среди самих помещиков. Для урегулирования конфликтов между землевладельцами и возник институт государственных чиновников-землемеров, которые являлись на места с измерительным инструментом (мерными цепями и шагомером) и сверяли соответствие реальных межей с документально подтвержденными земельными имущественными границами. Естественно, что работа землемера проходила в бесконечных разъездах с места на место с весьма объемным багажом. Следует добавить, что после манифеста 19 февраля 1861 года об освобождении крепостных крестьян и отхода их земельных участков (наделов) в общинную или подворную крестьянскую собственность, аграрные отношения в стране крайне обострились и, соответственно, работа землемеров (в том числе – Ивана Тихоновича Иванова) стала очень интенсивной.

Досель из сумерек забвенья
Мерцают мне, – чей странный вид
Всю память смутную давит), -
Схватил он семя злой чахотки,
Что в гроб его потом свела.
Мать разрешения ждала, -
И вышла из туманной лодки
На брег земного бытия
Изгнанница – душа моя.

Из бесед с семидесятилетним Ивановым его секретарь Ольга Шор вынесла убеждение, что лично «отца своего Вячеслав почти не знал». Тем не менее, из семейных преданий известно, что тот, служивший в Москве чиновником Министерства государственного имущества, был несчастлив в первом браке: жена Генриетта, оставив на его руках двух сыновей, бежала из семьи в начале бурных для русского общества 1860-х годов.

Эта эскапада, о конкретных мотивах и обстоятельствах которой мы не знаем ничего, была вполне *в духе эпохи*: реформы, начатые императором Александром II с момента вступления на престол (1856), за минувшее пятилетие вскружили голову целому поколению интеллигентной молодежи, взявшему на вооружения идею отрицания патриархальных отечественных ценностей, идею *нигилизма*. «Это было отрицание во имя личной свободы, всяких стеснений, налагаемых на человека обществом, семьей, религией, – вспоминал «лихие шестидесятые» революционер С. М. Степняк-Кравчинский. – Нигилизм был страстной и здоровой реакцией против деспотизма не политического, а нравственного, угнетающего личность в ее частной, интимной жизни». Сложно судить насколько «здоровым» было это модное поветрие, но страстности русским нигилистам и, особенно, *нигилисткам* было, действительно, не занимать: девушки и молодые женщины, начитавшись Чернышевского и Бакунина, смело «бросали вызов предрассудкам», – и хорошо, если дело обходилось только короткой стрижкой и курением «папихоток» в общественных местах...

Неизвестно, насколько Генриетта Иванова руководствовалась в своем порыве идеологическими соображениями, но то, что она находилась, так сказать, в кругу идей эпохи – несомненно. В доме Ивановых на рубеже 1850-х – 1860-х годов водились свежие номера «Современника», «Искры», а то и «Колокола»: без этого образ разночинца-«шестидесятника» просто непредставим, а Иван Тихонович был

...века сын! Шестидесятых
Годов земли российской тип;
«Интеллигент», сиречь «проклятых
Вопросов» жертва – или Эдип...

«Проклятые вопросы», действительно, сыграли с ним злую шутку. Вряд ли достойный землемер подозревал, что призыв к «эмансипации», гремевший со страниц демократических изданий, будет воспринят его собственной женой столь буквально...

Брошенный муж, переживая свою трагедию, искал поддержку у старинной знакомой семьи, бывшей воспитанницы известного семейства ученых московских немцев Кёппенов **Александры Дмитриевны Преображенской** (1824-1896). Если вспомнить явно инославное имя легкомысленной супруги Ивана Тихоновича, вполне можно предположить, что и Генриетта принадлежала к немецкому московскому клану, еще с допетровских времен игравшему существенную роль в культурной и промышленной жизни русской столицы. По крайней мере, Генриетта познакомилась с Александрой Дмитриевной именно в доме Кёппенов, прозвав ее тут же «рыбой» и «царевной Несмеяной». Это впрочем, не помешало возникшей дружбе, подтвердив лишний раз истину о том, что крайности сходятся. «Александрина» скоро стала confidentкой Генриетты и та, оказавшись замужней дамой, постоянно приходила жаловаться на невыносимый характер супруга. Впрочем, особого сочувствия у Александры Дмитриевны подобные откровения подруги не находили, а скандальное бегство Генриетты из семьи она решительно осудила и твердо стала на сторону оскорбленного мужа и осиротевших приживой матери детей.

К моменту разрыва Ивана Тихоновича с женой, Александра Дмитриевна, похоронив своих престарелых воспитателей, жила у Большого Вознесенья, «своим домком» с прислугой, пожилой украинкой Татьяной, одиноко и благочестиво, всерьез задумываясь об уходе в монастырь. Господь рассудил иначе: визиты Ивана Тихоновича, его печальные рассказы, –

Как оставался безответен
Призыв души его больной,
Как он покинут был женой, –
сообщили внезапный поворот в намереньях, к которому она обратилась со всей сострадательной истовостью внучки русского сельского священника. Более того, «царевна Несмеяна», в отличие от своей подруги, вовсе не видела в суровой интеллигентской духовной и интеллектуальной самоуглубленности Иванова, в его замкнутости и прямоты – недостаток, могущий служить источником постоянного раздражения. Наоборот, в ее глазах это было чертой, несомненно, привлекательной, как в его человеческом, так и в *мужском*, эротическом облике:

Он холодно-своеобычен
И непохож ни на кого;
Каким-то внутренним отличен
Сознанием права своего –
Без имени, без титул обрядных –
На место меж людей изрядных.
Под пятьдесят; но седины
Не видно в бороде. Темны
И долги кудри; и не странен
На важном лике, вслед волос
Закинута – огромный нос.
Движеньем каждым отчеканен
Ум образованный... Года? –
Но мать совсем не молода.

Дело решила судьба: Генриетта Иванова в «бегах» вдруг скоропостижно скончалась и Иван Тихонович, получивший вместе с вдовством полную свободу в своих чувствах, недолго думая, привел в домик на Вознесенской сыновей Анатолия и Евгения, велел детям встать на колени перед потрясенной «Александринкой» и «просить как-нибудь за них всех».

Мальчики-сироты встали на колени и сказали Александре Дмитриевне просто:
– Будь нам мамой!..

В начале 1865 года Иван Тихонович и Александра Дмитриевна обвенчались в уже знакомом читателю Георгиевском храме в Грузинах и поселились в домике «напротив Зоологического сада», а вскоре разменявшая четвертый десяток «молодая» сообщила мужу о грядущем прибавлении семейства.

II

Александра Дмитриевна, как уже говорилось, была внучкой сельского священника и дочерью

московского судебного чиновника, служившего в Сенате. Осиротев в ранней юности, она поступила в услужение в дом главноуправляющего имений князя М. С. Воронцова Карла Ивановича Кёппена, прижилась там и обрела в бездетной супружеской чете Кёппенов вторых родителей:

...Сироту за дочь лелеять
Взялась немецкая чета:
К ним чтицей в дом вступила та.
Отрадно было старым сеять
Изящных чувств и знаний сев
В мечты одной из русских дев.

Убежденный гуманист-просветитель, ученый богослов, лесовод и ботаник К.И. Кёппен был сыном доктора медицины Марбургского университета Иоганна Кёппена (Johann Kerpen), прибывшего с супругой Каролиной в 1786 г. в Россию в числе 30 немецких врачей, приглашенных Екатериной Великой для налаживания здесь системы здравоохранения по европейскому образцу. Иоганн Кёппен был определен заведовать медицинской частью на Украину, в Харьков. Сыновья Иоганна и Каролины Петр и Карл, родившиеся уже в России, учились в Харьковском университете, где в 1815 году Карл Иванович Кёппен получил степень магистра философии (годом ранее степень магистра правоведения получил его старший брат, впоследствии – прославленный академик, филолог-славист, статистик и географ).

Как раз в эти годы в России активно разворачивалась деятельность Библейского общества, созданного по инициативе обер-прокурора Синода князя А. Н. Голицына, личного друга императора Александра I. По образцу британского, русское Библейское общество ставило своей задачей перевод Библии на различные языки и распространение книг среди самых широких кругов населения, включая беднейшие слои². В Харькове отделе-

² Выдающимся деянием Библейского общества стал перевод Священного Писания на русский язык, начатый по императорскому указу 28 февраля 1816 года. Огромный вклад в эту работу, продолжавшуюся вплоть до закрытия Общества в 1826 г., внесли митрополит Московский Филарет (Дроздов), ученые богословы Петербургской, Московской и Киевской духовных академий. Всего же за 12 лет существования русского Библейского общества оно издало 876772 экземпляра различных библейских текстов (из них – 208068 экземпляров полной Библии) на 41 языке (в том числе – на 14 языках и наречиях, бытовавших в Российской Империи).

Деятельность А. Н. Голицына на посту обер-прокурора Синода, главы Министерства вероисповеданий и Библейского общества вызвала протест со стороны консервативных кругов духовенства, вождем которых был архимандрит Фотий. 15 мая

русского Библейского общества действовало весьма активно, и К. И. Кёппен имел возможность проявить свои богословские познания в полной мере. Увлечение толкованием библейских текстов (особенно – Ветхого Завета) он пронес через всю свою жизнь, начинал утро с чтения Священного Писания и до конца своих дней совершенствовал знание иврита, греческого и латыни:

С осанкою иноплеменной
Библейский посещали дом
То квакер в шляпе, гость надменный
Учтиво-чопорных хором,
То меннонит, насельник Юга.
Часы высокого досуга
Хозяин, дерптский богослов³,
Все посвящал науке слов
Еврейских Ветхого Завета.
В перчатке черной (кто б сказал,
Что нет руки в ней?) он стоял
И левою писал с рассвета,
Обрит и степен, в парике
И молчаливом сюртуке.

Другой яркой страницей деятельности братьев Кёппенов стало их сотрудничество с гра-

1824 года Александр I вынужден был уступить: А. Н. Голицин был отстранен от обер-прокурорской должности, а Министерство вероисповеданий распущено. После этого оставшаяся президентом Библейского общества А. Н. Голицин, естественно, не мог, хотя его заслуги в создании и деятельности этой крупнейшей русского просветительской организации первой четверти XIX века были весьма велики.

Справедливости ради, надо сказать, что и сам Голицин давал поводы для недоумения и возмущения не только со стороны религиозных фанатиков, но и со стороны обычных православных мирян, не видящих необходимости в каких-либо сомнительных новациях, если речь идет не о культурном, а о *молитвенном* общении. Обер-прокурор Синода не находил предосудительным для себя участвовать в богослужениях квакеров и даже – в молитвенных собраниях у Е. Ф. Татаринской, которые проводились по образцу хлыстовских оргий. Что же касается самого русского Библейского общества, то оно существовало до 12 апреля 1826 г., когда новый император Николай I специальным указом приказал прекратить все виды деятельности Общества и распустить существовавшие на тот момент 289 частных отделов во всех концах России.

³ О связи К.И. Кёппена с *Дерптским* (ныне – Тартуским) университетом на настоящий момент никакой информации нет. Возможно, Иванов путает его с племянником, естествоиспытателем *Федором Петровичем Кёппеном* (1833-1908), действительно получившим образование в Дерпте. Автор фундаментальных трудов по энтомологии, ботанике и зоологии, Ф. П. Кёппен во второй половине жизни работал заведующим отделом по математическим, естественным и медицинским наукам Императорской публичной библиотеки и был членом ученого комитета Министерства народного просвещения.

фом (а затем князем) *Михаилом Семеновичем Воронцовым*, с весны 1823 года занимавшим пост Новороссийского генерал-губернатора и бессарабского наместника (т.е. возглавлявшего весь причерноморский край). Канцелярия Воронцова располагалась в Одессе, куда сорокалетний генерал-губернатор, деятельный и честолюбивый, собирал отовсюду талантливую и энергичную молодежь⁴. Стараниями Воронцова член-корреспондент Российской Академии наук П. И. Кёппен в 1827 году был назначен помощником главного инспектора Министерства внутренних дел по шелководству, садоводству и виноделию, переселился в Крым и семь лет собирал материалы по географии, естественной истории и хозяйству Причерноморья. По-видимому, в это же время в поле зрения Воронцова ока-

⁴ В современном отечественном сознании М. С. Воронцов намертво связан с пушкинской эпиграммой о «*полу-милорде, полу-купце*»*et*cet. Ввиду того, что инвектив, спровоцированных этими строками, в прошлой и современной исторической литературе более чем достаточно (и несколько не отрицая многих неприятных черт в характере Воронцова и его несомненных грехов), воспользуемся случаем сказать все-таки несколько добрых слов о Михаиле Семеновиче – он того заслуживает.

М. С. Воронцов был талантливым руководителем, как военным, так и гражданским. Высокомерный, обидчивый и злопамятный, если дело касалось конкретных личностей, он был внимателен к подчиненным вообще, видя своей задачей создание наилучших условий для проявления их деятельной инициативы. Командуя в 1815-1818 гг. русским корпусом во Франции, М. С. Воронцов на свой страх и риск *первым в истории русской армии отменил телесные наказания* – не из соображений человеколюбия, а в силу здравого рассуждения, что подобные унижительные обычаи роняют авторитет победителей-русских в глазах побежденных французов. Перейдя на гражданское поприще, он с первых шагов показал себя прагматиком, стремящимся повысить благосостояние вверенного ему края путем последовательной и грамотной кадровой политики, развития торговли, более эффективного использования экономического потенциала местного сельского хозяйства (та же эпопея с кёппенским крымским виноградом), улучшения судоходства и т.д.

И это ему, действительно, удалось.

Что же касается «пушкинского» эпизода, то ни Александр Сергеевич, ни Михаил Семенович не оказались здесь образцами для подражания, прежде всего, потому, что между ними оказалась женщина – Елизавета Ксаверьевна Воронцова (которой, кстати, в данный момент была увлечена А. Н. Раевским). Помимо того, «хозяйственник» Воронцов и в самом деле имел туманное представление об эстетических ценностях. «Раз, – вспоминал об одесских встречах с М.С. Воронцовым в «пушкинскую весну» Ф.Ф. Вигель, – он сказал мне: “Вы, кажется, любите Пушкина; не можете ли вы склонить его заняться чем-нибудь путным под руководством вашим?” – “Помилуйте, такие люди умеют быть только великими поэтами”, – отвечал я. – “Так на что же они годятся?” – сказал он».

В этой сцене – весь Воронцов.

зался и К. И. Кёппен, который стал заниматься здесь лесоводством и виноградарством – и столь успешно, что в 1833 г. получил за заслуги чин надворного советника.

В 1834 г. министр народного просвещения граф С. С. Уваров вызывал Петра Кёппена в Петербург; Карл же Кёппен так и остался на службе у Воронцова, а после смерти князя (†1856) – у его наследников. В момент появления в семье Карла Ивановича юной сироты Александры Преображенской тот жил в Москве, руководя отсюда всем громадным хозяйством воронцовских земель, раскинувшихся «от тундры до степных окраин».

Александра Дмитриевна была миловидна (что свойственно, впрочем, подавляющему большинству молодых и здоровых русских девушек), серьезна и благочестива (чем могут похвастаться немногие), а также обладала пытливым умом и глубоким чувством прекрасного (удел единиц). В стихотворном портрете, нарисованном сыном (а он единственный, которым и следует удивляться читателю, ибо никаких других изображений – ни рисованных, ни фотографических – матери поэта до нас не дошло) изображается «дева русская» –

Похожа поступью на паву, -
Кровь с молоком, – она цвела
Так женственно-благоуханно,
Как сердцу русскому желанно.
И косы темные до пят
Ей достигали. Говорят
Пустое всё про «долгий волос»⁵:
Разумницей была она –
И «Несмеяной» прозвана.
К тому ж имела дивный голос:
«В театре ждали б вас венки» -
Так сетовали знатоки.

Старики Кёппены, искренне полюбив «Александрину», стремились развить все благородные свойства, дарованные этой яркой натуре от рождения. Однако вскоре выяснилось, что таланты сообщены воспитаннице прихотливо неравномерно. Так, по свидетельству сына (уже не поэтическому, а прозаическому), несмотря на все усилия воспитателей-немцев, Александра Дмитриевна так и не одолела немецкого языка и до конца дней оставалась не в ладах даже с русским правописанием. Зато она – жадный и благодарный слушатель, легко усваивающий благородный художественный вкус старого книжника, равно хорошо знакомого, как

⁵ Иванов имеет в виду пословицу: «Долгий волос – короткий ум».

с немецким, так и с русским искусством. Попав в дом Кёппенов Александра Дмитриевна быстро расстается с прежним пристрастием к «легкомысленным» французским авторам и романтическим романам Марлинского. В ее «девической келье» появляется бюст Гете, она заполняет «вороха тетрадей списанными стихами» и зачитывается статьями В.Г. Белинского (сыну она рассказывала, что в молодые годы «водила знакомство» с сестрой великого критика⁶).

Другим персонажем ее рассказов был молодой А. Н. Островский, для которого она даже что-то «переписывала». Это возможно: в марте 1850 года, после публикации в «Московитянине» комедии «Свои люди – сочтемся», двадцатисемилетний автор стал популярен среди интеллигентной московской молодежи настолько, что в трактирах, за книжкой журнала выстраивались очереди. Впрочем, Островский, печатавшийся в «Московском городском листке» и выступавший с чтением своих «сцен» на университетских литературных вечерах, имел устойчивый круг молодых почитателей (и почитательниц) с конца 1840-х годов, а Александра Дмитриевна была практически ровесница драматурга.

Еще один возможный круг ее литературных знакомств в 1840-е – 1850-е годы – московские славянофилы (А. С. Хомяков, братья Киреевские, братья Аксаковы, Ю. Ф. Самарин, А. И. Кошелев и др.), регулярно публиковавшиеся в том же «Московитянине» и выпускавшие собственный «Московский сборник» в 1846, 1847, 1852 гг. Здесь можно вспомнить А. И. Герцена, писавшего о «молодой Москве сороковых годов», принимавшей деятельное участие в спорах вокруг идеи самобытности России (в герценовской иронической терминологии – спорах «за мурмолки и против них»): «Барыни и барышни читали статьи очень скучные, слушали прения очень длинные, спорили сами за К. Аксакова или за Грановского, жалея *только*, что Аксаков слишком славянин, а Грановский недостаточно патриот. Споры возобновлялись на всех литературных и нелитературных вечерах, на которых мы встречались – а это было раза два или три в неделю. В понедельник собирались у Чаадаева, в пятницу у Свербеева, в воскресенье у А.П. Елагиной. Сверх участников

⁶ Насколько точно отражает эта формула реальное положение дел – судить сложно, но Александра Григорьевна Белинская, действительно, некоторое время проживала в Москве, уехав из нее с мужем, педагогом М.Н. Козьминим к месту его нового назначения в Пензу только в 1847 году, т.е. когда А.Д. Преображенской было уже около двадцати трех лет.

в спорах, сверх людей, имевших мнения, на эти вечера приезжали охотники или даже охотницы, и сидели до двух часов ночи, чтобы посмотреть, кто из матадоров кого отделает и как отделают его самого; приезжали в том роде, как встарь ездили на кулачные бои и в амфитеатр, что за Рогожской заставой». В «Автобиографическом письме» Иванов пишет, что его мать и в 1860-е – 1870-е годы «славянофильствовала с оттенком либеральным», поддерживая прежние знакомства: «Помню, что в детстве заезжал к нам раз толстый барин в голубой шелковой русской рубахе⁷ (по фамилии, кажется, Нащокин), и мы ездили с ним куда-то в его карете, а потом мать объясняла мне, что это – “славянофил”».

Даже если все эти «литературные истории» Александры Дмитриевны и являются апокрифическими, а на деле она была не более чем незаметной и немой свидетельницей московской литературной жизни 1840-х – 1850-х гг. – сама попытка выдать *такое* желаемое за действительное уже говорит о многом. И уж, конечно, совершенно очевидно, что и помимо этих громких имен круг общения молодой воспитанницы в доме Кёппенов был неизмеримо выше обычного круга общения московской девушки ее происхождения. И, главное, атмосфера этого дома, по точной формулировке автобиографии Иванова, «взлелеяла» в ее душе «идеал умственного трудолюбия и высокой образованности, который <она> желала видеть непременно осуществленным в своем сыне. Хотелось ей также, чтобы ее будущий сын был поэт». Последнее обстоятельство наглядно свидетельствует, что усилиями Карла Ивановича было совершено настоящее педагогическое чудо...

Однако чудо это имело и свою оборотную сторону, весьма неприятную для молодой московской барышни, да еще обладавшей внешностью Александры Дмитриевны. Она сделалась крайне разборчивой невестой, отпугивающей непритязательных кавалеров из мещан и духовенства:

⁷ «Исконно русскую» одежду – косоворотку, зипун и мурмолку – как альтернативу «противоестественному» на отечественной почве западному платью московской интеллигенции, первым стал демонстративно носить самый неистовый из ранних славянофилов К.С. Аксаков. Несмотря на остроумную (и справедливую) насмешку П.Я. Чаадаева, что после такой смены костюма простой московский народ чаще всего принимает славянофила за... «персианина», у К.С. Аксакова нашлось много последователей и элементы национальной «экзотики» в костюме долго отличала последователей московских славянофилов славных 1840-х годов.

...Сколько сороков трезвонят
По всей Москве ей столько лет.
И думы скорбные хоронят
Давно девический расцвет.

Впрочем, свое медленное превращение во второй половине 1850-х годов из красавицы-невесты в старую деву «Александрина», насколько можно понять из рассказов сына, переживала удивительно спокойно, отчасти из-за неких *предчувствий и вещей снов*, которым верила безусловно, –

Заране храм ей снился, – тот,
Где столько лет ее приход:
В нем луч в нее метнул Георгий;
Под жалом Божьего посла
Она в земную глубь вросла, –

отчасти – из-за развитого чувства долга, отвлекавшего все ее душевные силы на заботу о безнадежно дряхлеющих «старичках».

19 февраля 1861 года, в очередной день рождения Александры Дмитриевны,

Настало Руси пробужденье.

Манифест Александра II «*О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей и об устройстве их быта*» вызвал в доме Кёппенов всеобщее ликование, оставившее навсегда в душе Александры Дмитриевны восторженно-благоговейное отношение к Царю-Освободителю (она искренне гордилась, что ее день рождения отныне совпадал с днем рождения *новой России*). Если учесть род занятий Карла Ивановича в последний период жизни это ликование может показаться странным, ибо его многолетние сюзерены Воронцовы тогда же

...Охали, дрожа,
В тот день прощенный – мятежа.

Однако старый идеалист был убежден в том, что освобождение более двадцати миллионов крепостных рабов дает ставшей ему родной стране великий исторический шанс и

Благословил желанный день.

Сразу после этого «старички» слегли окончательно.

В Прощенное воскресенье, возвращаясь из церкви, Анна Дмитриевна вдруг увидела обоих,

нарядных и оживленных, идущих навстречу по многолюдной улице, но тут же затерявшихся, так и не поравнявшись с ней. В изумлении она прибежала домой, где и нашла обоих – бездыханными.

Так случилось первое из видений, заполонивших вдруг жизнь Александры Дмитриевны в следующее, самое важное ее десятилетие.

III

Ожидание первенца стало для Александры Дмитриевны, вероятно, самым счастливым временем ее семейной жизни. По крайней мере, никакие внешние обстоятельства не омрачали ее. Она зажила московской домохозяйкой в собственном домике на Пресне, любимая мужем и пасынками. Иван Тихонович, продолжая служить землемером в Министерстве государственного имущества, в своих обычных частых разъездах по «полям унылым» с «цепями и циркулем», засыпал беременную жену восторженными письмами,

Где, в благодарном умиленье,
Увядшей жизни обновленье
Он славил, скучный клял урок
И торопил свиданья срок.

Как уже говорилось, Александра Дмитриевна была хорошо, спокойно и глубоко набожна. Теперь, в эти счастливые и одинокие месяцы она больше прежнего проводила времени перед иконами, прибавив к обычному вечернему правилу чтение акафистов и Псалтири, к которой всегда была особенно пристрастна.

Боговдохновенное создание Давида, великого иудейского царя, пророка, поэта и музыканта (он пел свои песнопения, аккомпанируя себе на *псалтирионе*, древнем струнном инструменте, подобном гусях), гениально переведенное на церковнославянский язык Кириллом и Мефодием, было всегда любимым отечественным Православием. Александра Дмитриевна не была исключением из многих и многих поколений русских девочек и мальчиков, душа которых, из века в век, то замирала от восторга, слыша в храме, в начале Божественной Литургии нарастающее, подобно волне, хоровое ликование первого антифона:

Благослови душе моя Господа, благословен еси Господи. Благослови душе моя Господа, и вся внутренняя моя имя святое Его. Благослови душе моя Господа, и не забывай всех воздаяний Его. Очищающего вся беззакония твоя, исцеляющего вся

недуги твоя. Избавляющего от истления живот твой, венчающего тя милостью и щедротами -

то содрогались от сладко-таинственного ужаса при скороговорке дьячка-начетчика с его одинокой свечой во мраке вечернего Шестопсалмия:

Человек, яко трава дние его, яко цвет сельный, такооцветет, яко дух пройде в нем, и не будет, и не познает ктому места своего (Пс. 102, 1-4, 15-16).

Сейчас же, коленопреклоненная, читая кафизмы⁸, она доводила себя до восторженных слез, мысленно, почему-то, все время возвращаясь за чтением к тем словам Давида, которыми псалмопевец рассказывал о себе самом, в последнем, «автобиографическом» 151 псалме, завершающем книгу:

Мал бех в братии моей и юнший в дому отца моего: пасох овцы отца моего. Руце мои сотвори-сте орган, и персты мои составивша псалтирь.

«Я был младшим в доме отца моего... Пальцы мои настроили псалтирь...».

Всей душой ждала она некоего знака, чуда. И чудо произошло!

В полночный, безотзывный час,
Беременная, со слезами,
Она, молясь пред образами,
Вдруг слышит: где же?.. точно, в ней –
Младенец вскрикнул!.. и сильней
Опять раздался заглушенный,
Но внятный крик...

⁸ *Кафизмами* (от греческого «кафизо» – «сизжу») называют 20 разделов Псалтири, на которые книга разделена в современном уставе православной церкви для удобства употребления ее за богослужением и в домашнем молитвенном правиле. Слово это происходит от обычая в древней церкви сидеть после пропетых стоя псалмов, духовно размышляя об услышанном. Ранее упомянутый *антифон* – хоровое песнопение, исполняемое в начале Божественной Литургии (обедни), после Великой ектении. В древней церкви псалмы-антифоны пели, разделившись на два хора во время торжественных процессий, направлявшихся в храм для совершения Литургии. После создания Иоанном Златоустом канонического текста Литургии, в него вошли три антифона – фрагменты 102 и 145 псалмов и Заповеди Блаженства из Нагорной проповеди (Мф. 5. 3-12). 102 псалом читается и во время *Шестопсалмия*, части утреннего богослужения, состоящей из шести (3, 37, 62, 87, 102 и 142) псалмов. Устав повелевает слушать это чтение с полным благоговением и тишиной, для чего в храме гасятся все светильники, кроме свечи, освещающей книгу. Согласно церковному преданию Страшный суд Христов будет длиться столько, сколько по времени читается шестопсалмие.

Случаи, когда будущая мать слышит голос – плач или восклицание – своего еще не рожденного младенца, запечатлены в преданиях многих народов, и каждое такое знамение толкуется по-разному. Что же касается Александры Дмитриевны, то она, удивившись и умилившись, приняла случившееся, по словам сына (с которым со временем поделилась своей тайной), «*душой, от воли отрешенной*»:

Но как же знак истолковала?
Какой вещал он тайный дар?
Не разумела, не пытала;
Но я возрос под сенью чар
Ее надежды сокровенной –
На некое благословенный
Святое дело... Может быть,
Творцу всей жизнью послужить...
Быть может, славить славу Божью
В еще неведомых псалмах...
Мать ясновидела впотьмах,
Мирской не обольщаясь ложью...

Этому материнскому «ясновиденью впотьмах», как уже известно нашему читателю, будущий поэт, явившийся на свет в феврале 1866 года, и был обязан своим необыкновенным именем «святого двух церквей». А, несколькими месяцами спустя, счастливый отец, укачивая младенца, поднес его к окну детской, выходящему прямо на буйную зелень Зоологического сада.

Сад был прекрасен!..

Впрочем, и это тоже читателю уже известно.

Первые, как бы *до-сознательные* впечатления Иванова связаны с созерцанием некоего простора, подобного простору морскому, простиравшегося за этими «окнами в предел Эдема», у которых любили вечерами сидеть Иван Тихонович и Александра Дмитриевна:

Но, верно, был тот вечер тайный,
Когда, дыханье затая,
При тишине необычайной,
Отец и мать, и с ними я,
У окон, в замкнутом покое,
В пространство темно-голубое
Уйдя душой, как в некий сон,
Далече осзали – звон...
Они прислушивались. Тщетно
Ловил я звучную волну:
Всколеблет что-то тишину –
И вновь умолкнет безответно...
Но с той поры я чтить привык
Святой безмолвия язык.

Если же говорить о первых *сознательных* образах, запечатлевшихся в памяти будущего поэта, то они менее романтичны, но зато дают нам представление, что время детского самознания наступило у него поразительно рано, очевидно, – весной 1867 года. Мать и кормилица, отлучая ребенка от груди, по незапамятному русскому обычаю повязали на ветви березы, растущей во дворе у дома в Волковом переулке, алую тряпочку, которую затем показывали орущему младенцу:

– Вон, смотри: Лель улетел, молоко унес!

Эту сценку Иванов, сам поражаясь, какой давности «эхо» ловит его «душа в кладбищенской тиши Дедала дней», с поразительной отчетливостью вывел в автобиографическом «Младенчестве»:

Ужель к сознанию дух проснулся
Еще в те дни, как я тянулся
Родной навстречу, из дверей
Внесен кормилицей моей
Куда-то в свет, где та сидела?..
Стоит береза зелена:
Глянь, птичка там – как мак, красна!
Высоко гостья залетела,
Что мне дарила млечный хмель! –
Ты на березе, алый Лель!

Оттуда же, из «*тиши Дедала дней*» (то бишь, из *лабиринта памяти* – легендарный Дедал был строителем знаменитого запутанного Кносского дворца) Иванову «мерцал» и «облик восковой» его няни – все той же «Татьянушки», которая была вывезена Кёппенами из Харькова, затем перешла «по наследству» к Александре Дмитриевне, а теперь доживала свой век в доме Ивановых, баюкая сына своей барыни:

Возле речки, возле моста...

«Ее Украина золотою / Мне снилась: вечерет даль, / Колдует по степи печаль...» – писал Иванов, вспоминая, очевидно, сказки, которые рассказывала ему няня «на сон грядущий» и добавляя, таким образом, в картину своего раннего детства сакраментальный биографический штрих, обязательный для жизнеописания каждого великого русского поэта со времен Пушкина:

Спой мне песню, как синица
Тихо за морем жила;
Спой мне песню, как девица
За водой поутру шла...

Спустя много лет, когда у самого Иванова появятся дети, в жилах троих из них будет течь кровь Пушкина – кровь Ганнибалов!..

IV

Год рождения сына был для Ивана Тихоновича последним в карьере землемера. Во время одной из зимних командировок 1865/1866 гг. он жестоко простудился, и эта простуда спровоцировала давно намечавшийся процесс в легких:

Схватил он семя злой чахотки,
Что в гроб его потом свела.

После первых недомоганий, отец поэта, не желая более испытывать судьбу, вышел в отставку. С болезнью своей он не смирился и *взропотал*, подобно библейскому Иову, – но на русский, истерический манер. Нигилистические сомнения молодости вновь овладели им, вероятно, с удесятенной силой теперь, когда жизнь, перевалив за пятый десяток, вдруг устремилась по крутой наклонной – к тому безвестному краю, откуда, по словам датского принца, нет возврата:

Так трусами нас делает раздумье,
И так решимости природный цвет
Хиреет под налетом мысли бледным...

Тяжело заболев, Иван Тихонович ощутил острый *личный* интерес в спорах, которые сотрясали в это время русское образованное общество:

На краю разверстой могилы
Имеют спорить нигилисты и славянофилы.

Первые утверждают, что кто умрет,
Тот весь обращается в кислород.

Вторые – что он входит в небесные угодия
И делается братчиком Кирилла-Мефодия.
(*Козьма Прутков* (А. К. Толстой).
«Церемониал»)

Это было время, когда русский нигилизм, пережив период молодежных эскапад, переместился в среду столичных интеллектуалов, азартно разрабатывавших отечественные версии *просвещенного безбожия*.

Самые деликатные и таинственные сферы мирового и человеческого бытия получали тут простое до изумления «естественнонаучное» объяснение.

Ангелоподобный Д. И. Писарев, переживший в студенческие годы страстное увлечение религиозным мистицизмом (вплоть до обета сохранения девственности до конца дней), поражал теперь светских красавиц в петербургских салонах, доказывая, как дважды два, что основанием разносторонности ума и гармонического равновесия между различными силами и стремлениями характера является лишь... разнообразие пищи, ведущее за собой разнообразие составных частей крови:

– Философия и эстетика исчезают ныне в физиологии и гигиене!

Все исторические успехи европейской цивилизации в XVIII веке он объяснял ростом потребления в Англии, Германии и Франции возбуждающих напитков – чая и кофе.

Великий И. М. Сеченов, создатель русской физиологической школы, в своей книге «Рефлексы головного мозга» (1866) доказывал, что все «акты» в жизни людей и животных «по способу происхождения суть рефлексы», – и, потому, само человеческое мышление (закрывающее в себе, в том числе, и идею Бога), не более чем «частное возбуждение чувствующих снарядов и связанной с ним репродукции предшествовавших сходных впечатлений с их двигательными последствиями». Человек уравнивался, таким образом, с прочими «чувствующими снарядами» (говоря проще – с животными), отличаясь от них лишь повышенной впечатлительностью.

За растущим к тому времени научным авторитетом Сеченова отчетливо угадывался и мировой авторитет корифея европейского естествознания – Чарльза Дарвина, недвусмысленно указавшего на истинного прародителя человека – *первобытную обезьяну*.

Противостоять этому интеллектуальному, научному напору для мыслящего россиянина было куда сложнее, чем наивному цинизму тургеневского Базарова. Придворная и творческая элита, не выказывая, разумеется, сочувствия салонным мятежникам, озадаченно молчала. Прослыть «обскурантистом» не хотелось никому, даже пылкому начальнику Главного управления по делам печати М. Н. Лонгинову:

Полно, Миша! Ты не сетуй!

Без хвоста твоя ведь ...

Так тебе обиды нету

В том, что было до потопа.

(А. К. Толстой. «Послание М. Н. Лонгинову о дарвинизме»)

Все эти общественные бури проникали и в мирный московский домик в Волковом переулке. Освободившись от служебных обязанностей, Иван Тихонович использовал образовавшийся у него непривычный досуг для усиленного чтения «вольнодумных книг» – материалистических и атеистических трудов «дарвинистов» Л. Бюхнера и Я. Молешотта, а также – Давида Штрауса⁹:

В уединенный кабинет

Он сел, от мира заградился

И грудю вольнодумных книг

Меж Богом и собой воздвиг.

«И в доме все пошло неладно», – прибавляет Иванов. Александра Дмитриевна была крайне обеспокоена неожиданным «философическим затворничеством» мужа, потребовала разъяснений и... оказалась в положении неопита, кото-

⁹ Немецкий врач, философ и естествоиспытатель Людвиг Бюхнер (Buchner, 1824-1899) был одним из ярких представителей т.н. «социального дарвинизма» – европейского направления общественной мысли, пытавшегося объяснить социальные процессы с помощью учения Дарвина о борьбе за существование как основном механизме естественного отбора. Естественно, что подобная «биологизация» жизни человеческого общества оказывалась возможной только в том случае, если сам человек воспринимался как «биологическая особь», неспособная к активному восприятию действительности и действию, основанному на интеллектуально-волевой ее осмыслении. Л. Бюхнер отрицал свободу человеческой воли и видел в человеческом сознании такое же пассивное (зеркальное) отражение действительности, как и в мировосприятии млекопитающих животных, реагирующих лишь на непосредственные сиюминутные «вызовы среды», прежде всего – на угрозы их бытию. Не более чем «физиологический механизм» человеческое мышление представляло собой и в трудах немецкого физиолога и философа Якоба Молешотта (Moleschott, 1822-1893). Подобный «дарвинизм» приводил его сторонников к вульгарному материализму, в котором не было места не только идее Бога, но и собственно «идеализму» даже по отношению к человеческому мышлению, поскольку любое его действие, с этой точки зрения диктовалось лишь «внешними обстоятельствами». Крайние теологические выводы из подобных мировоззренческих установок были сделаны выдающимся немецким богословом и философом Давидом Фридрихом Штраусом (Strauß, 1808-1874), который в своей книге «Жизнь Иисуса» (1835-1836) попытался трактовать образ Иисуса Христа, как историческую фигуру античного философа-моралиста. Иисус помещался здесь в ряду таких «учителей жизни», как Сократ, Платон, Сенека и др. Признавая высокую ценность христианских морально-этических установок для современных гуманистических учений, Штраус отрицал достоверность Евангелий, а собственно христианство с его метафизикой считал историческим «пережитком», обреченным на исчезновение по мере развития науки и роста просвещения в народных массах. Все упомянутые мыслители были очень популярны в кругах российской разночинной интеллигенции 1860-х гг.

рого вновь открытый богоборец попытался обратиться в «научный атеизм». Иван Тихонович часами зачитывал жене самые разрушительные пассажи из изученных им трактатов, тут же толкуя их, со свойственной ему живостью ума, в духе российского «шестидесятнического» максимализма.

Какую реакцию московской домохозяйки, – как тогда, так, вероятно, и сейчас, – можно представить в подобной ситуации? Такое «проповедничество» иногда приводит к семейному раздору, а то и разрыву. Иногда проповедь цели достигает, и супруги становятся единомышленниками. В подавляющем же большинстве – особенно, если, как в случае с Иваном Тихоновичем, идейная агрессия возникает на фоне развивающейся болезни – любящая женская половина склонна видеть в происходящем обычное мужское чудачество и считает своим долгом переносить его с подобающим терпением.

Но Александра Дмитриевна недаром была воспитана в доме Кёппенов!

Теологическими выкладками ее было не удивить, и она, к изумлению мужа, вступила с ним в полемику «на равных», выказывая недоужинную умственную изобретательность в этой области:

...Где причина всех причин,
Коль не Предвечный создал атом?

Ответить на такой вопрос было сложно не только Ивану Тихоновичу, но и его любимым Бюхнеру с Молешоттом!

Действительно: как бы глубоко не проник ты в тайны материи (а атомарная теория в трудах вульгарных материалистов неизменно выступала в качестве последнего слова науки¹⁰), последователь-

¹⁰ Учение о *неделимых* (атомах) частицах материи, являющихся первоэлементами всего многообразия материального мира, возникло в IV до Р.Х. У его истоков стоял греческий философ Демокрит, учивший о том, что существуют только «пустота» и атомы, из «вихрей» которых образуются материальные тела; ощущения Демокрит трактовал как реакцию на «истечения» атомов. В конце XIX века с изменением представлений о категориях материальности / нематериальности атомистика утратила актуальность как прикладная научная теория, однако может восприниматься как выражение дискретной (прерывной) природы изучаемого объекта (например: электроны – «атомы» электричества, фотоны – «атомы» света и т. д.). Вопрос о «первопричине» атомистика никогда *по существу* не снимала, ибо *существование первоэлемента не отменяло проблему его возникновения, как таковую*. Таким образом, богословский вопрос о Том, Кто сотворил «небо и землю» в контексте атомистики просто формулировался несколько иначе: «Кто сотворил атомы, из которых состоит небо и земля?». Любопытно, что именно так формулируется образ начала Творения и в Библии, которая упоминает о *пред-*

ное рассуждение не может не привести к итоговому вопросу о *причинах возникновения материи как таковой*. Более того, именно наука, утверждающая наличие «законов природы», приводит к мысли о том, что «первотолчок» явился не результатом хаотической игры случая, а был *разумным замыслом, «законотворчеством»*. Это, кстати, со всей определенностью признавал и Чарльз Дарвин, с которого следует решительно снять ответственность за буйные фантазии его немецких и русских последователей. «Мир, – говорил великий англичанин (три года изучавший богословие в Кембриджском университете), – покоится на закономерностях и в своих проявлениях представляется как продукт разума, – это указание на его Творца».

Неожиданная в устах миролюбивой Александры Дмитриевны апологетика ошеломила мужа. Безмолвный, «мрачней осенних туч», он вновь удалился в кабинет, провожаемый насмешливым возгласом:

– Вот вздор – признать орангутанга братом!..

В двери щелкнул ключ: Иван Тихонович затворился от домашних (в буквальном смысле) на недели, появляясь из своего убежища лишь для приема пищи. Дело, по всей вероятности, было на Новый 1869 Год, в канун праздника Крещения (6 января): Иванов вспоминал, что когда, после водосвятия в дом явился «седой батюшка и причет¹¹», чтобы, как и полагалось, окропить жилище прихожан Георгиевского храма в день Богоявления, Иван Тихонович выдержал настоящую осаду, но не допустил, чтобы материалистические издания на полках его кабинета оросила святая вода.

После этого Александра Дмитриевна не на шутку встревожилась уже не столько за душу, сколько за рассудок пенсионера-нигилиста, ибо, как прозорливо заметил тот же псалмопевец Давид, усиленные размышления в подобном направлении легко сочетаются с обычными психическими расстройствами:

Рече безумень в сердцьсвоемъ: нльсть Богъ
(Пс. 13. 1).

Богословские дискуссии были отставлены, а каждое явление Ивана Тихоновича «на свет» стало окружаться самым нежным и ласковым вниманием –

бытии, «когда еще Он <Бог> не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок вселенной» (Притч. 8. 26).

¹¹ *Причет* (правильно – *причит*) – собрание причетников, т.е. церковнослужителей (дьячков, пономарей и др.), помогающих иерею вести богослужения.

Пока безмолвия твердыня,
Веселостью осаждена,
Улыбкам женским не сдана...

За время, пока «тайна Божья и гордыня / боролась в алчущем уме», Иван Тихонович пришел к выводу, что, собственно, против *христианства* он не имеет ничего, и все дело – в конфликте мыслящих русских людей с Православием, в грубом народном суеверии и в агрессивном клерикализме российской внутренней политики, проводимой Синодом.

Ведь и Иван Тихонович, как и его жена, с детства любил величавую красоту православного богослужения, особенно выделяя для себя всеобщее бдение с его «вечерним тихим светом»:

Свете Тихий святых славы Безсмертного Отца
Небесного, Святаго, Блаженного, Иисусе Христе!
Пришедше на запад солнца, видевши свет вечерний,
поем Отца, Сына и Святаго Духа, Бога.

И он, отказавшись от кощунств, вернулся к «здоровому эмпиризму». Это вполне устраивало Александру Дмитриевну: «идейный мир» в семье был, как будто, восстановлен.

Знали бы супруги, что готовит им провидение в совсем уже недалеком будущем!..

Разумеется, их маленький сын не мог вникнуть в суть происходящего тогда в семье. Однако на образно-эмоциональном уровне трехлетний малыш, не по годам впечатлительный, не мог не чувствовать некую особую значимость в жизни родителей религиозных переживаний. Насколько можно судить и по «*Младенчеству*» и по «*Автобиографическому письму*», эта «богословская распря» произвела на будущего поэта большое впечатление и религия изначально, с первых лет жизни стала связываться для него с чем-то крайне эмоциональным, «огненным», затрагивающим самые действенные начала человеческого существования.

Знаю твои дела; ты не холоден, ни горяч; о, если бы ты был холоден или горяч! Но так как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст Моих (Откр. 3. 15-16).

В духовной жизни Иванова будет много коллизий, весьма рискованных с точки зрения христианского вероучения, но «теплохладной» его религиозность не была никогда!